

СДВИГИ В МАССАХ

На четвертом месяце существования февральский режим уже задыхался в собственных противоречиях. Июнь начался Всероссийским съездом советов, который имел своей задачей создать политическое прикрытие для наступления на фронте. Начало наступления совпало в Петрограде с грандиозной демонстрацией рабочих и солдат, которую организовали соглашатели против большевиков, но которая превратилась в большевистскую демонстрацию против соглашателей. Растущее возмущение масс привело через две недели к новой демонстрации, которая разразилась без призывов сверху, привела к кровавым столкновениям и вошла в историю под именем "июльских дней". Проходя как раз посередине между Февральской революцией и Октябрьской, июльское полувосстание замыкает первую и является как бы генеральной репетицией второй. У порога "июльских дней" мы закончим эту книгу. Но прежде чем перейти к событиям, ареной которых в июне был Петроград, необходимо присмотреться к тем процессам, которые происходили в массах.

Одному либералу, который утверждал в начале мая, что чем больше левее правительство, тем больше правее страна, Ленин возразил: "Страна рабочих и беднейших крестьян, уверяю вас, гражданин, раз в 1000 левее Черновых и Церетели и раз в 100 левее нас. Поживете -- увидите". Ленин считал, что рабочие и крестьяне "раз в сто" левее большевиков. Это могло казаться по меньшей мере необоснованным: ведь рабочие и солдаты еще поддерживали соглашателей и в большинстве своем остерегались большевиков. Но Ленин копал глубже. Социальные интересы масс, их ненависть и их надежды только еще искали своего выражения. Соглашательство было для них первым этапом. Массы были неизмеримо левее Черновых и Церетели, но еще сами не признавали своего радикализма. Ленин был прав и в том, что массы левее большевиков, ибо партия в подавляющем большинстве своем еще не отдавала себе отчета в могуществе революционных страстей, которые клокотали в недрах пробудившегося народа. Возмущение масс питалось затягиванием войны, хозяйственной разрухой и злостной бездеятельностью правительства.

Необъятная европейско-азиатская равнина стала страной только благодаря железным дорогам. Война тяжелее всего била по ним. Транспорт все более расстраивался. Число больных паровозов доходило на некоторых дорогах до 50%. В ставке читались учеными инженерами доклады о том, что не позже как через полгода железнодорожный транспорт окажется в состоянии полного паралича. В этих расчетах было немало сознательного сеяния паники. Но развал транспорта принял действительно грозные размеры, создавал по дорогам заторы, усиливал расстройство товарообмена и питал дороговизну.

Продовольственное положение городов становилось все более тяжким. Аграрное движение успело создать свои очаги в 43 губерниях. Поток хлеба в армию и города угрожающе сокращался. В наиболее плодородных районах

страны имелись еще, правда, десятки и сотни миллионов пудов избыточного хлеба. Но закупочные операции по твердым ценам давали крайне недостаточные результаты; да и заготовленный хлеб трудно было доставить в центры из-за расстройств транспорта. С осени 1916 года на фронт доставлялось в среднем около половины положенных продовольственных грузов. На долю Петрограда, Москвы и других промышленных центров приходилось не более 10% того, что было необходимо. Запасов почти не было. Жизненный уровень городских масс колебался между недоеданием и голодом. Пришествие коалиционного правительства ознаменовалось демократическим запрещением выпекать белый хлеб. Отныне пройдет несколько лет, прежде чем "французская булка" снова появится в столице. Не хватало масла. В июне потребление сахара было ограничено определенными нормами для всей страны.

Механизм рынка, сломленный войной, не был заменен тем государственным регулированием, к которому оказались вынуждены прибегнуть передовые капиталистические государства и которое только и позволило Германии продержаться в течение четырех лет войны. Грозные симптомы экономического развала обнаруживались на каждом шагу. Упадок производительности заводов вызывался помимо расстройства транспорта изношенностью оборудования, недостатком сырья и вспомогательных материалов, текучестью людского состава, неправильным финансированием, наконец, всеобщей неуверенностью. Главнейшие предприятия по-прежнему работали на войну. Заказы были распределены на два-три года вперед. Между тем рабочие не хотели верить, что война будет продолжаться. Газеты сообщали умопомрачающие цифры военных прибылей. Жизнь дорожала. Рабочие ждали перемен. Технический и административный персонал заводов объединился в союзы и выдвигал свои требования. В этой среде господствовали меньшевики и эсеры. Режим заводов разлагивался. Все скрепы ослабевали. Перспективы войны и хозяйства становились туманными, права собственности ненадежными, прибыли снижались, опасности возрастали, хозяева теряли вкус к производству в условиях революции. Буржуазия в целом становилась на путь экономического поражения. Временные потери и убытки от хозяйственного паралича были в ее глазах накладными расходами борьбы с революцией, угрожавшей основам "культуры". В то же время благомыслящая пресса изо дня в день обвиняла рабочих в том, что они злонамеренно саботируют промышленность, расхищают материалы, бессмысленно жгут топливо, чтобы вызвать простои. Лживость обвинений переходила всякие границы. А так как это была печать партии, которая фактически стояла во главе коалиционной власти, то возмущение рабочих естественно переносилось на Временное правительство.

Промышленники не забыли опыт революции 1905 года, когда правильно организованный локаут, при активной поддержке правительства, не только сорвал борьбу рабочих за 8-часовой рабочий день, но и оказал монархии неоценимую услугу в деле разгрома революции. Вопрос о локауте

был и на этот раз поставлен на обсуждение в Совете съездов промышленности и торговли -- так невинно именовался боевой орган трестированного и синдицированного капитала. Один из руководителей промышленности, инженер Ауэрбах, объяснил позже в своих мемуарах, почему идея локаута была отвергнута: "Это имело бы вид удара в тыл армии... Последствия такого шага, *при отсутствии поддержки правительства*, большинству рисовались весьма мрачными". Вся беда была в отсутствии "настоящей" власти. Временное правительство было парализовано советами; разумные вожди советов были парализованы массами; рабочие на заводах были вооружены; кроме того, почти у каждого завода был по соседству дружественный полк или батальон. При этих условиях локаут показался господам промышленникам "одиозным в национальном отношении". Но они вовсе не отказались от наступления, а лишь приспособили его к обстоятельствам, придав ему не единовременный, а ползучий характер. По дипломатическому выражению Ауэрбаха, промышленники "в конце концов пришли к выводу, что предметный урок будет дан самой жизнью: путем неизбежного, постепенного закрытия фабрик, так сказать поодиночке, -- что вскоре действительно и стало наблюдаться". Другими словами, отвергнув демонстративный локаут, как связанный "с огромной ответственностью", Совет объединенной промышленности порекомендовал своим членам закрывать предприятия поодиночке, подыскивая благовидные предлоги.

План ползучего локаута проводился с замечательной систематичностью. Вожди капитала, как кадет Кутлер, бывший министр в кабинете Витте, читали внушительные доклады о разрушении промышленности, причем вину возлагали не на три года войны, а на три месяца революции. "Пройдет две-три недели, -- предрекала нетерпеливая "Речь", -- и фабрики и заводы начнут закрываться один за другим". В форму предсказания здесь облечена угроза. Инженеры, профессора, журналисты открыли в специальной и общей печати кампанию, в которой обуздание рабочих выставлялось как основное условие спасения. Министр-промышленник Коновалов заявил 17 мая, накануне своего демонстративного выхода из правительства: "Если в ближайшее время не произойдет отрезвления отуманенных голов... то мы будем свидетелями приостановки десятков и сотен предприятий".

В середине июня съезд торговли и промышленности требует от Временного правительства "радикального разрыва с системой развития революции". Мы уже слышали это требование со стороны генералов: "Приостановите революцию". Но промышленники уточняют вопрос:

"Источник зла не только в большевиках, но и в социалистических партиях. Спасти Россию может только твердая, железная рука".

Подготовив политическую обстановку, промышленники от слов перешли к делу. В течение марта и апреля закрыто было 129 мелких предприятий с 9 тысячами рабочих; в течение мая -- 108 предприятий с таким же числом рабочих; в июне закрывается уже 125 предприятий с 38 тысячами

рабочих; в июле 206 предприятий выбрасывают на улицы 48 тысяч рабочих. Локаут разворачивается в геометрической прогрессии. Но это только начало. Текстильная Москва тронулась за Петроградом, провинция -- за Москвой. Предприниматели ссылались на отсутствие топлива, сырья, вспомогательных материалов, кредитов. Заводские комитеты вмешивались в дело и во многих случаях с совершенной неоспоримостью устанавливали злонамеренное расстройство производства с целью нажима на рабочих или вымогательства субсидий у государства. Особенно нагло вели себя иностранные капиталисты, действовавшие через посредство своих посольств. В некоторых случаях саботаж был так очевиден, что в результате разоблачений заводских комитетов промышленники оказывались вынужденными вновь открывать заводы. Так, обнажая одно социальное противоречие за другим, революция скоро добралась до главного из них: между общественным характером производства и частной собственностью на его орудия и средства. В интересах победы над рабочими предприниматель закрывает завод, как если бы дело шло о его табакерке, а не о предприятии, необходимом для жизни всей нации.

Банки, успешно бойкотировавшие заем свободы, заняли боевую позицию против фискальных покушений на крупный капитал. В письме на имя министра финансов банкиры "предсказывали" отлив капиталов за границу и перемещение бумаг в сейфы в случае радикальных финансовых реформ. Другими словами, банковские патриоты угрожали финансовым локаутom в дополнение к промышленному. Правительство поспешило спасовать: ведь организаторы саботажа были солидные люди, которым приходилось из-за войны и революции рисковать капиталами, а не какие-нибудь кронштадтские матросы, которые не рисковали ничем, кроме собственной головы.

Исполнительный комитет не мог не понимать, что ответственность за экономические судьбы страны, особенно после открытого приобщения социалистов к власти, ляжет в глазах масс на правящее советское большинство. Экономический отдел Исполнительного комитета разработал широкую программу государственного регулирования хозяйственной жизни. Под давлением угрожающей обстановки предложения очень умеренных экономистов оказались гораздо радикальнее их авторов. "Для многих отраслей промышленности, -- гласила программа, -- назрело время для торговой государственной монополии (хлеб, мясо, соль, кожа); для других созрели условия для образования регулируемых государством трестов (уголь, нефть, металл, сахар, бумага) и, наконец, почти для всех отраслей промышленности современные условия требуют регулирующего участия государства в распределении сырья и выработывании продуктов, а также фиксации цен... Одновременно с этим следует поставить под контроль... все кредитные учреждения".

16 мая Исполнительный комитет при растерянности политических вождей принял предложения своих экономистов почти без прений и скрепил их своеобразным предупреждением по адресу правительства: оно должно

взять на себя "задачу планомерной организации народного хозяйства и труда", памятуя, что вследствие невыполнения этой задачи "пал старый режим и должно было преобразоваться Временное правительство". Чтобы набраться храбрости, соглашатели пугали самих себя.

"Программа великолепна, -- писал Ленин, -- и контроль, и огосударствление трестов, и борьба со спекуляцией, и трудовая повинность... Программу "ужасного" большевизма приходится признать, ибо иной программы и выхода из действительно грозящего ужасного краха быть не может..." Весь вопрос, однако, в том, кто будет выполнять эту великолепную программу? Неужели коалиция? Ответ был дан немедленно. Через день после принятия Исполнительным комитетом экономической программы вышел в отставку, хлопнув дверью, министр торговли и промышленности Коновалов. Его временно замещал инженер Пальчинский, не менее верный, но более энергичный представитель крупного капитала. Министры-социалисты не смели даже серьезно предложить программу Исполнительного комитета своим либеральным коллегам. Ведь Чернов тщетно пытался провести через правительство запрещение земельных сделок!

В ответ на растущие затруднения правительство выдвинуло, с своей стороны, программу разгрузки Петрограда, т. е. перевода заводов и фабрик в глубину страны. Программа мотивировалась как военными соображениями -- опасностью захвата столицы немцами, -- так и экономическими: Петроград слишком далек от источников топлива и сырья. Разгрузка означала бы ликвидацию петроградской промышленности на ряд месяцев и лет. Политическая цель состояла в том, чтобы разметать по всей стране авангард рабочего класса. Параллельно с этим военные власти выдвигали один предлог за другим для вывода из Петрограда революционных воинских частей.

Пальчинский изо всех сил старался убедить рабочую секцию Совета в преимуществах разгрузки. Против рабочих осуществить эту задачу было невозможно, а рабочие не соглашались. Разгрузка так же мало подвигалась вперед, как и регулирование промышленности. Разруха углублялась, цены росли, тихий локаут ширился, и вместе с ним безработица. Правительство топталось на месте. Милюков писал позже: "Министерство просто плыло по течению, а течение вело в большевистское русло". Да, течение вело в большевистское русло.

* * *

Пролетариат был главной движущей силой революции. В то же время революция формировала пролетариат. А он в этом очень нуждался.

Пред нами прошла решающая роль петроградских рабочих в февральские дни. Наиболее боевые позиции занимали большевики. После переворота они, однако, сразу отодвигаются куда-то на задний план. Политическую авансцену занимают соглашательские партии. Они передают власть либеральной буржуазии. Знаменем блока является патриотизм. Его натиск так силен, что руководство большевистской партии, по крайней мере

наполовину, капитулирует перед ним. С приездом Ленина курс партии круто меняется, и вместе с тем влияние ее быстро растет. В вооруженной апрельской демонстрации передовые отряды рабочих и солдат уже пытаются разорвать цепи соглашательства. Но после первого усилия отступают назад. Соглашатели остаются у руля.

Позже, после Октябрьского переворота, немало было написано на ту тему, что большевики обязаны своей победой крестьянской армии, уставшей от войны. Это очень поверхностное объяснение. Противоположное утверждение будет ближе к истине: если соглашатели получили в Февральской революции господствующее положение, то прежде всего благодаря исключительному месту, какое крестьянская армия занимала в жизни страны. Если бы революция развернулась в мирное время, руководящая роль пролетариата получила бы с самого начала гораздо более ярко выраженный характер. Без войны революционная победа пришла бы позже и, если не считать жертв войны, была бы оплачена более дорогой ценой. Но она не оставила бы места для разлива соглашательских и патриотических настроений. Во всяком случае, русские марксисты, предрекавшие, задолго до событий, завоевание власти пролетариатом в ходе буржуазной революции, исходили не из временных настроений крестьянской армии, а из классовой структуры русского общества. Это предвидение подтвердилось целиком. Но основное соотношение классов преломилось через войну и временно сдвинулось под давлением армии, т. е. организации деклассированных и вооруженных крестьян. Именно эта искусственная социальная формация чрезвычайно укрепила позиции мелкобуржуазного соглашательства и создала для него возможность восьмимесячных экспериментов, ослаблявших страну и революцию.

Однако вопрос о корнях соглашательства не исчерпывается крестьянской армией. В самом пролетариате, в его составе, в его политическом уровне надо искать дополнительные причины временного засилья меньшевиков и эсеров. Война внесла огромные изменения в состав и в настроения рабочего класса. Если предшествовавшие годы были временем нарастания революционного прилива, то война сразу оборвала этот процесс. Мобилизация была задумана и проведена не только под военным, но, прежде всего, под полицейским углом зрения. Правительство поспешило очистить промышленные районы от наиболее активного и беспокойного слоя рабочих. Можно считать установленным, что мобилизация первых месяцев войны вырвала из промышленности до 40% рабочих, главным образом квалифицированных. Их отсутствие, очень болезненно обнаруживавшееся на ходе производства, вызывало тем более горячие протесты промышленников, чем более высокие прибыли приносила военная промышленность. Дальнейшее разрушение рабочих кадров было приостановлено. Нужные промышленности рабочие оставались в качестве военнообязанных. Бреши, пробитые мобилизацией, заполнялись выходцами из деревни, мелким городским людом, малоквалифицированными рабочими, женщинами, подростками. Процент женщин в промышленности повысился с 32 до 40.

Процесс обновления и разжижения пролетариата получил исключительные размеры именно в столице. За годы войны, с 1914 по 1917-й, число рабочих крупных предприятий, занимающих свыше 500 рабочих, возросло в Петроградской губернии почти вдвое. Вследствие ликвидации заводов и фабрик в Польше и особенно в Прибалтике, главным же образом вследствие общего роста военной промышленности, в Петрограде к 1917 году сосредоточилось около 400 тысяч рабочих на фабриках и заводах. Из них 335 тысяч приходилось на 140 заводов-гигантов. Наиболее боевые элементы петроградского пролетариата сыграли на фронте немалую роль в оформлении революционных настроений армии. Но заменившие их вчерашние выходцы из деревни, нередко зажиточные крестьяне и лавочники, укрывавшиеся на заводах от фронта, женщины и подростки были гораздо покорнее, чем кадровые рабочие. К этому надо прибавить, что квалифицированные рабочие, попав на положение военнообязанных -- а таких насчитывалось сотни тысяч, -- соблюдали чрезвычайную осторожность из опасения быть выброшенными на фронт. Такова социальная база патриотических настроений, захватывавших часть рабочих еще при царе.

Но в этом патриотизме не было устойчивости. Нещадный военно-полицейский зажим, удвоенная эксплуатация, поражения на фронте и хозяйственная разруха толкали рабочих на борьбу. Стачки во время войны имели, однако, преимущественно экономический характер и отличались гораздо более умеренным характером, чем до войны. Ослабление класса усугублялось ослаблением его партии. После ареста и ссылки депутатов-большевиков произведен был, при помощи заранее подготовленной иерархии провокаторов, генеральный разгром большевистских организаций, от которого партия не могла оправиться до февральского переворота. В течение 1915 и 1916 годов разжиженному рабочему классу пришлось проходить элементарную школу борьбы, прежде чем в феврале 1917 года частичные экономические стачки и демонстрации голодающих женщин могли слиться во всеобщую стачку и вовлечь армию в восстание.

В Февральскую революцию петроградский пролетариат вошел, таким образом, не только с крайне разнородным, еще не успевшим амальгамироваться составом, но и с пониженным политическим уровнем даже наиболее передовых своих слоев. В провинции дело обстояло еще хуже. Только этот вызванный войной рецидив политической неграмотности и полуграмотности пролетариата создал второе условие для временного господства соглашательских партий.

Революция учит, и притом быстро. В этом ее сила. Каждая неделя приносила массам нечто новое. Каждые два месяца создавали эпоху. В конце февраля -- восстание. К концу апреля -- выступление вооруженных рабочих и солдат в Петрограде. В начале июля новое выступление, в гораздо более широком масштабе и под более решительными лозунгами. В конце августа -- корниловская попытка переворота, отбитая массами. В конце октября завоевывание власти большевиками. Под этим поражающим своей правильностью ритмом событий происходили глубокие молекулярные

процессы, сплавивавшие разнородные части рабочего класса в одно политическое целое. Решающую роль при этом играла опять-таки стачка.

Напуганные громом революции, ударившим среди вакханалии военных барышей, промышленники в первые недели шли на уступки рабочим. Петроградские заводчики согласились даже, с оговорками и урезками, на 8-часовой рабочий день. Но это не вносило успокоения, так как уровень жизни непрерывно снижался. В мае Исполнительный комитет принужден был констатировать, что при растущей дороговизне положение рабочих "граничит для многих категорий с хроническим голоданием". Настроение в рабочих кварталах становилось все более нервным и напряженным. Больше всего угнетало отсутствие перспективы. Массы способны выносить тяжчайшие лишения, когда понимают, во имя чего. Но новый режим все более раскрывался перед ними как маскировка старых отношений, против которых они восстали в феврале. Этого они терпеть не хотели.

Стачки принимают особенно бурный характер среди наиболее отсталых и эксплуатируемых рабочих слоев. Прачки, красильщики, бондари, торгово-промышленные служащие, строительные рабочие, бронзовщики, маляры, чернорабочие, сапожники, картонажники, колбасники, мебельщики бастуют, слой за слоем, в течение всего июня. Металлисты же начинают, наоборот, играть сдерживающую роль. Передовым рабочим становилось все яснее, что частные экономические стачки в условиях войны, разрухи и инфляции не могут внести серьезного улучшения, что нужны какие-то изменения самих основ. Локаут не только делал рабочих восприимчивыми к требованию контроля над промышленностью, но и наталкивал их на мысль о необходимости взятия заводов в руки государства. Этот вывод представлялся тем более естественным, что большинство частных заводов работало на войну и что рядом с ними имелись государственные предприятия того же типа. Уже летом 1917 года начинают появляться в столице из разных концов России делегации от рабочих и служащих с ходатайствами о взятии заводов в казну, так как акционеры прекратили отпуск денег. Но правительство и слышать об этом не хотело. Надо было, следовательно, сменить правительство. Соглашатели противодействовали этому. Рабочие поворачивали фронт против соглашателей.

Путиловский завод, со своими 40 тысячами рабочих, казался в первые месяцы революции крепостью эсеров. Но гарнизон ее не долго защищался от большевиков. Во главе наступающих чаще всего можно было видеть Володарского. В прошлом портной, еврей, прошедший ряд лет в Америке и хорошо овладевший английским языком, Володарский был прекрасным массовым оратором, логичным, находчивым и дерзким. Американские интонации придавали своеобразную выразительность его звонкому голосу, отчетливо звучащему на многотысячных собраниях. "С момента его появления в Нарвском районе, -- рассказывает рабочий Миничев, -- на Путиловском заводе почва под ногами господ эсеров начала колебаться, и в течение каких-нибудь двух месяцев путиловские рабочие пошли за большевиками".

Рост стачек и вообще классовой борьбы почти автоматически повышал влияние большевиков. Во всех случаях, где дело шло о жизненных интересах, рабочие убеждались, что у большевиков нет задних мыслей, что они ничего не скрывают и что на них можно положиться. В часы конфликтов к большевикам тянулись все рабочие, беспартийные, эсеры, меньшевики. Этим объясняется тот факт, что фабрично-заводские комитеты, ведущие борьбу за жизнь своих заводов с саботажем администрации и владельцев, перешли на сторону большевиков гораздо раньше, чем Совет. На конференции фабрично-заводских комитетов Петрограда и его окрестностей, в начале июня, 335 голосов из 421 высказалось за большевистскую резолюцию. Этот факт прошел совершенно незамеченным большой печатью. Между тем он означал, что в основных вопросах экономической жизни петроградский пролетариат, еще не успев порвать с соглашателями, фактически перешел на сторону большевиков.

На июньской конференции профессиональных союзов выяснилось, что в Петрограде свыше 50 союзов, обнимающих не менее 250 тысяч членов. Союз металлистов насчитывал около 100 тысяч рабочих. В течение одного месяца мая число его членов возросло вдвое. Влияние большевиков в союзах росло еще быстрее.

Все частичные перевыборы в советы приносили победу большевикам. К 1 июня в Московском Совете было уже 206 большевиков против 172 меньшевиков и 110 эсеров. Те же сдвиги происходили и в провинции, только медленнее. Число членов партии непрерывно росло. В конце апреля петроградская организация насчитывала около 15 тысяч членов, к концу июня -- свыше 32 тысяч.

Рабочая секция Петроградского Совета имела в это время уже большевистское большинство. Но на объединенных заседаниях обеих секций большевиков подавляли солдатские делегаты. "Правда" все настойчивее требовала общих перевыборов: "500 тысяч петроградских рабочих имеют в Совете раза в четыре меньше делегатов, чем 150 тысяч петроградского гарнизона".

На июньском съезде советов Ленин требовал серьезных мер борьбы с локаутами, хищениями и организованным расстройством хозяйственной жизни со стороны промышленников и банкиров. "Опубликуйте прибыли господ капиталистов, арестуйте 50 или 100 крупнейших миллионеров. Достаточно продержать их несколько недель, хотя бы на таких же льготных условиях, на каких содержится Николай Романов, с простой целью заставить вскрыть нити, обманные проделки, грязь, корысть, которые и при новом правительстве миллионов стоят нашей стране". Советским вождям предложение Ленина казалось чудовищным. "Разве можно при помощи насилия над отдельными капиталистами изменять законы экономической жизни?" То обстоятельство, что промышленники диктовали свои законы путем заговора против нации, почиталось в порядке вещей. Керенский, обрушившийся на Ленина громами негодования, не остановился через месяц

перед тем, чтобы арестовать многие тысячи рабочих, которые расходились с промышленниками в понимании "законов экономической жизни".

Связь между экономикой и политикой обнажалась. Государство, привыкшее выступать в качестве мистического начала, орудовало теперь все чаще в своей примитивнейшей форме, т. е. в виде отрядов вооруженных людей. Рабочие в разных местах страны подвергали то насильственному приводу в Совет, то домашнему аресту своего предпринимателя, отказывавшегося идти на уступки или даже вступать в переговоры. Не мудрено, если рабочая милиция стала предметом особой ненависти имущих классов.

Первоначальное решение Исполнительного комитета о вооружении 10% рабочих не выполнялось. Но рабочим все же удавалось частично вооружаться, причем в ряды милиции попадали наиболее активные элементы. Руководство рабочей милицией сосредоточивалось в руках завкомов, а руководство завкомами переходило все больше в руки большевиков. Рабочий московского завода "Поставщик" рассказывает: "1 июня, как только был избран новый завком в большинстве из большевиков... был сформирован отряд до 80 человек, который, за неимением оружия, обучался палками под руководством старого солдата товарища Левакова".

Печать обвиняла милицию в насилиях, в реквизициях и незаконных арестах. Несомненно, что милиция применяла насилие: именно для этого она и создавалась. Преступление ее состояло, однако, в том, что она прибегала к насилию по отношению к представителям того класса, который не привык быть объектом насилия и не хотел привыкать.

На Путиловском заводе, который играл ведущую роль в борьбе за повышение заработной платы, собралось 23 июня совещание с участием представителей Центрального совета фабрично-заводских комитетов, Центрального бюро профсоюзов и 73 заводов. Под влиянием большевиков совещание признало, что стачка завода при данных условиях может повести за собой "неорганизованную политическую борьбу петроградских рабочих", а потому предложило путиловским рабочим "сдержать свое законное негодование" и готовить силы для общего выступления.

Накануне этого важного совещания фракция большевиков предупреждала Исполнительный комитет: "Сорокатысячная масса... может каждый день забастовать и выступить на улицу. Она уже выступила бы, если бы ее не сдерживала наша партия, причем нет гарантий, что и впредь удастся ее удержать. А выступление путиловцев -- в этом не может быть сомнения -- неизбежно повлечет за собой выступление большинства рабочих и солдат".

Вожди Исполнительного комитета расценивали такие предупреждения как демагогию или попросту пропускали их мимо ушей, сохраняя спокойствие. Сами они почти совсем перестали посещать заводы и казармы, так как успели стать одиозными фигурами в глазах рабочих и солдат. Одни большевики пользовались тем авторитетом, который позволял им удерживать рабочих и солдат от разрозненных действий. Но нетерпение масс направлялось иногда уже и против большевиков.

На заводах и во флоте появились анархисты. Как всегда пред лицом больших событий и больших масс они обнаруживали свою органическую несостоятельность. Они тем легче отрицали государственную власть, что совершенно не понимали значения советов как органов нового государства. Впрочем, оглушенные революцией, они чаще всего просто отмалчивались по вопросу о государстве. Свою самостоятельность они проявляли, главным образом, в области мелкого вспышкопускательства. Экономический тупик и растущее ожесточение петроградских рабочих создавали для анархистов некоторые опорные позиции. Неспособные серьезно оценивать соотношение сил в общегосударственном объеме, готовые каждый толчок снизу рассматривать как последний спасительный удар, они иногда обвиняли большевиков в нерешительности и даже соглашательстве. Но дальше ворчания обыкновенно не шли. Отклик масс на выступления анархистов служил иногда для большевиков измерителем силы давления революционных паров.

* * *

Матросы, встречавшие Ленина на Финляндском вокзале, заявляли спустя две недели, под патриотическим натиском со всех сторон: "Если бы мы знали... какими путями он попал к нам, то вместо восторженных криков "ура" раздались бы наши негодующие возгласы: "Долой, назад в ту страну, через которую ты к нам приехал..." Солдатские советы в Крыму один за другим угрожали вооруженной рукой воспрепятствовать проникновению Ленина на патриотический полуостров, куда он вовсе не собирался. Волынский полк, корифей 27 февраля, постановил даже сгоряча арестовать Ленина, так что Исполнительный комитет счел себя вынужденным принимать против этого свои меры. Такого рода настроения не рассеялись окончательно до июньского наступления, а рецидивы их ярко вспыхнули после июльских дней. В то же время в самых глухих гарнизонах и на отдаленных участках фронта солдаты все смелее говорили языком большевизма, чаще всего не догадываясь об этом. Большевики в полках насчитывались единицами, но большевистские лозунги проникали все глубже. Они как бы самопроизвольно зарождались во всех частях страны. Либеральные наблюдатели не видели во всем этом ничего, кроме невежества и хаоса. "Речь" писала: "Наша родина превращается положительно в какой-то сумасшедший дом, где действуют и командуют бесноватые, а люди, не потерявшие еще разума, испуганно отходят в сторону и жмутся к стенам". Точь-в-точь такими же словами изливали свою душу "умеренные" во всех революциях. Соглашательская печать утешала себя тем, что солдаты, несмотря на все недоразумения, знать не хотят никаких большевиков. Между тем бессознательный большевизм массы, отражавший логику развития, составлял несокрушимую силу ленинской партии.

Солдат Пирейко рассказывает, что на фронтовых выборах на съезд советов прошли, после трехдневных прений, одни эсеры, но тут же, невзирая на протесты вождей, солдатские депутаты приняли резолюцию о необходимости отбирать землю у помещиков, не ожидая Учредительного

собрания. "Вообще в вопросах, понятных для солдат, они настроены были левее самых крайних из крайних большевиков". Вот это и имел в виду Ленин, когда говорил, что массы "раз в сто левее нас".

Писарь мотоциклетной мастерской, где-то в Таврической губернии, рассказывает, что нередко после чтения буржуазной газеты солдаты ругают каких-то неизвестных большевиков и тут же переходят к рассуждениям о необходимости прекращения войны, отнятия земли у помещиков и пр. Это те самые патриоты, которые клялись не пропустить Ленина в Крым.

Солдаты огромных тыловых гарнизонов томились. Большое скопление праздных людей, нетерпеливо ждущих перемены своей судьбы, создавало нервозность, которая выражалась и в постоянной готовности вынести на улицу свое недовольство, и в повальной езде в трамваях, и в эпидемическом грызении семечек. Солдат с шинелью внакидку, с подсолнечной скорлупой на губах стал самым ненавистным образом буржуазной печати. Тот, кому за время войны грубо льстили, называя не иначе как героем, что не мешало на фронте пороть героя розгами; тот, кого после февральского переворота возвеличили как освободителя, стал внезапно шкурником, изменником, насильником и немецким наемником. Поистине не было той гнусности, которой патриотическая печать не приписала бы русским солдатам и матросам.

Исполнительный комитет только и делал что оправдывался, боролся с анархией, тушил эксцессы, рассылал перепуганные запросы и нравоучения. Председатель Совета в Царицыне -- этот город считался гнездом "анархобольшевизма" -- на запрос центра о положении дел ответил лапидарной фразой: "Чем больше левее гарнизон, тем больше правее обыватель". Царицынскую формулу можно распространить на всю страну. Солдат левее, буржуа правее.

Каждого солдата, который смелее других выражал то, что чувствовали все, так упорно бранили сверху "большевиком", что он оказывался в конце концов вынужден этому поверить. От мира и земли солдатская мысль переходила к вопросу о власти. Отклики на разрозненные лозунги большевизма превращались в сознательную симпатию к большевистской партии. В Волынском полку, который в апреле собирался арестовать Ленина, настроение за два месяца успело переломиться в пользу большевиков. Точно так же в Егерском и Литовском полках. Латышские стрелки были призваны к жизни самодержавием, чтобы использовать для войны ненависть парцельных крестьян и батраков против лифляндских баронов. Полки дрались прекрасно. Но дух классовой вражды, на который хотела опереться монархия, проложил себе свою собственную дорогу. Латышские стрелки одни из первых порвали с монархией, затем -- с соглашателями. Уже 17 мая представители 8 латышских полков почти единогласно присоединились к большевистскому лозунгу "Вся власть советам". В дальнейшем ходе революции им пришлось сыграть крупную роль.

Неизвестный солдат пишет с фронта: "Сегодня, 13 июня, у нас в команде было маленькое собрание и говорили про Ленина и Керенского,

солдаты большей частью за Ленина, а офицеры говорят, что Ленин самый буржуй". После катастрофы наступления имя Керенского в армии стало совершенно ненавистным.

21 июня юнкера в Петергофе проходили по улицам со знаменами и плакатами "Долой шпионов", "Да здравствуют Керенский и Брусилов". Сами юнкера, конечно, стояли за Брусилова. Солдаты 4-го батальона напали на юнкеров и помяли их, рассеяв демонстрацию. Наибольшую ненависть вызвал плакат в честь Керенского.

Июньское наступление чрезвычайно ускорило политическую эволюцию армии. Популярность большевиков, единственной партии, заранее поднявшей голос против наступления, стала чрезвычайно быстро расти. Правда, большевистские газеты с трудом находили себе доступ в армию. Их тираж был крайне мал по сравнению с тиражом либеральной и вообще патриотической печати. "Даже нигде и одной газеты вашей не видать, -- пишет корявая солдатская рука в Москву, -- а только пользуемся слухом вашей газеты. Нас здесь засыпают бесплатными буржуазными газетами, носят их по фронту целыми пачками". Но именно патриотическая печать создавала большевикам ни с чем не сравнимую популярность. Каждый случай протеста угнетенных, земельного захвата, расправы над ненавистным офицером газеты приписывали большевикам. Солдаты заключали, что большевики -- справедливый народ.

Комиссар 12-й армии докладывал Керенскому в начале июля о настроении солдат: "Все в конечном итоге сваливается на буржуев-министров и Совет, продавшийся буржуям. А в общем, в огромной массе -- непроглядная тьма; к сожалению, должен констатировать, что даже газеты в последнее время читаются слабо, полное недоверие к печатному слову, "сладко пишут", "зубы заговаривают"... В первые месяцы доклады патриотических комиссаров представляли обычно гимн революционной армии, ее сознательности и дисциплине. Когда же после четырех месяцев непрерывных разочарований армия потеряла доверие к правительственным ораторам и газетчикам, те же комиссары открыли в ней непроглядную тьму.

Чем больше левеет гарнизон, тем больше правее обыватель. Под толчком наступления контрреволюционные союзы возникали в Петрограде, как грибы после дождя. Они избирали имена одно звучнее другого: союз чести родины, союз воинского долга, батальон свободы, организация духа и пр. Этими великолепными вывесками прикрывались амбиции и посягательства дворянства, офицерства, бюрократии, буржуазии. Некоторые из организаций, как военная лига, союз георгиевских кавалеров или добровольческая дивизия, являлись готовыми ячейками военного заговора. Выступая в качестве пламенных патриотов, рыцари "чести" и "духа" не только легко открывали двери союзных миссий, но и получали подчас правительственную субсидию, в которой было в свое время отказано Совету как "частной организации".

Один из отпрысков семьи газетного магната Суворина приступил тем временем к изданию "Маленькой газеты, которая в качестве органа

независимого социализма" проповедовала железную диктатуру, выдвигая кандидатом адмирала Колчака. Более солидная пресса, не ставя еще всех точек над *i*, всячески создавала Колчаку популярность. Дальнейшая судьба адмирала свидетельствует, что уже ранним летом 1917 года дело шло о широком плане, связанном с его именем, и что за спиной Суворина стояли влиятельные круги.

Повинуясь простому тактическому расчету, реакция, если не считать отдельных срывов, делала вид, что направляет свои удары только против ленинцев. Слово "большевик" стало синонимом адского начала. Как до революции царские командиры возлагали ответственность за все бедствия, в том числе и за собственную глупость, на немецких шпионов, особенно на "жидов", так теперь, после краха июньского наступления, вина за неудачи и поражения неизменно возлагалась на большевиков. В этой области демократы, вроде Керенского и Церетели, почти ничем не отличались не только от либералов, вроде Милюкова, но и от откровенных крепостников, вроде генерала Деникина.

Как всегда бывает, когда противоречия напряжены до предела, но момент взрыва еще не наступил, группировка политических сил обнаружилась откровеннее и ярче не на основных вопросах, а на случайных и побочных. В качестве одного из громоотводов для политических страстей служил в те недели Кронштадт. Старая крепость, которая должна была быть верным часовым у морских ворот императорской столицы, не раз поднимала в прошлом знамя восстания. Несмотря на беспощадные расправы, мятежное пламя никогда не потухало в Кронштадте. Оно грозно вспыхнуло после переворота. Имя морской крепости скоро стало на страницах патриотической печати синонимом худших сторон революции, т. е. большевизма. В действительности Кронштадтский Совет еще не был большевистским: в него входило в мае 107 большевиков, 112 эсеров, 30 меньшевиков и 97 беспартийных. Но это были кронштадтские эсеры и кронштадтские беспартийные, жившие под высоким давлением: большинство их в важных вопросах шло за большевиками.

В области политики кронштадтские матросы не склонны были ни к маневрам, ни к дипломатии. У них было свое правило: сказано -- сделано. Не мудрено, если в отношении к призрачному правительству они склонны были к крайне упрощенным методам действия. 13 мая Совет постановил: "Единственной властью в Кронштадте является Совет рабочих и солдатских депутатов". Устранение правительственного комиссара, кадета Пепеляева, игравшего роль пятого колеса в телеге, прошло в крепости совершенно незамеченным. Сохранялся образцовый порядок. В городе была запрещена карточная игра, закрыты и выселены все притоны. Под угрозой "конфискации имущества и отсылки на фронт" Совет запретил появляться на улицах в пьяном виде. Угроза не раз приводилась в исполнение.

Закаленные в страшном режиме царского флота и морской крепости, привыкшие к суровой работе, к жертвам но и к неистовствам матросы теперь, когда перед ними приоткрылась завеса новой жизни, в которой они

почувствовали себя будущими хозяевами, напрягли все свои сухожилия, чтобы показать себя достойными революции. Они жадно набрасывались в Петрограде на друзей и на противников и почти насильно влекли их в Кронштадт, чтобы показать, каковы революционные моряки на деле. Такое нравственное напряжение не могло, разумеется, длиться вечно, но его хватило надолго. Кронштадтские моряки стали чем-то вроде воинствующего ордена революции. Но какой? Не той, во всяком случае, какая воплощалась в министре Церетели с его комиссаром Пепеляевым. Кронштадт стоял как провозвестник надвигающейся второй революции. Поэтому его так ненавидели все те, для кого было слишком достаточно и первой.

Мирное и незаметное низложение Пепеляева было в прессе порядка изображено почти как вооруженное восстание против государственного единства. Правительство пожаловалось Совету. Совет сейчас же выделил делегацию для воздействия. Машина двоевластия со скрипом пришла в движение. 24 мая Кронштадтский Совет, с участием Церетели и Скобелева, согласился, по настоянию большевиков, признать, что, продолжая борьбу за власть советов, он практически обязан подчиняться Временному правительству, покуда власть советов не установлена во всей стране. Однако уже через день, под давлением возмущенных этой уступчивостью матросов, Совет заявил, что министры получили лишь "разъяснение" точки зрения Кронштадта, которая остается неизменной. Это было явной тактической ошибкой, за которой, однако, ничего не скрывалось, кроме революционной амбиции.

На верхах решено было воспользоваться счастливым случаем и дать кронштадтцам урок, заставив их заодно расплатиться и за прежние грехи. Прокурором выступал, конечно, Церетели. С патетическими ссылками на свои собственные тюрьмы он особенно громил кронштадтцев за то, что они держат в крепостных казематах 80 офицеров. Вся благомыслящая печать ему вторила. Однако даже соглашательские, т. е. министерские, газеты должны были признать, что дело идет о "форменных казнокрадах" и о "людях, до ужаса доводивших кулачную расправу". Матросы--свидетели, по словам "Известий", официоза самого Церетели "показывают о подавлении (арестованными офицерами) восстания 1906 года, о массовых расстрелах, о баржах, переполненных трупами казненных и потопленных в море, и о других ужасах ... рассказывают совершенно просто, как обычные вещи".

Кронштадтцы упорно отказывались выдать арестованных правительству, которому палачи и казнокрады из благородного сословия были неизмеримо ближе, чем замученные матросы 1906-го и других годов. Не случайно же министр юстиции Переверзев, которого Суханов мягко называет "одной из подозрительных фигур в коалиционном правительстве", систематически освобождал из Петропавловской крепости наиболее гнусных деятелей царской жандармерии. Демократические выскочки больше всего стремились к тому, чтобы реакционная бюрократия признала их благородство.

На обвинения Церетели Кронштадтцы отвечали в своем воззвании: "Арестованные нами в дни революции офицеры, жандармы и полицейские сами заявили представителям правительства, что они ни в чем не могут пожаловаться на обращение с ними тюремного надзора. Правда, тюремные здания Кронштадта ужасны. Но это те самые тюрьмы, которые были построены царизмом для нас. Других у нас нет. И если мы содержим в этих тюрьмах врагов народа, то не из мести, а из соображений революционного самосохранения". 27 мая кронштадтцев судил Петроградский Совет. Выступая в их защиту, Троцкий предупреждал Церетели, что в случае контрреволюционной опасности, "когда контрреволюционный генерал попытается накинуть на шею революции петлю, кадеты будут намыливать веревку, а кронштадтские матросы явятся, чтобы бороться и умирать вместе с нами". Это предупреждение осуществилось через три месяца с неожиданной буквальностью: когда генерал Корнилов поднял восстание и повел войска на столицу, Керенский, Церетели и Скобелев вызвали кронштадтских матросов для охраны Зимнего дворца. Но что из того? В июне господа демократы защищали порядок от анархии, и никакие доводы и предсказания не имели над ними силы. Большинством в 580 голосов против 162 при 74 воздержавшихся Церетели провел в Петроградском Совете резолюцию, объявлявшую об отпадении "анархического" Кронштадта от революционной демократии. Как только нетерпеливо дожидавшийся Мариинский дворец был извещен, что булла отречения принята, правительство немедленно прервало телефонное сообщение между столицей и крепостью для частных лиц, чтобы не дать большевистскому центру возможности воздействовать на кронштадтцев, приказало сейчас же вывести из вод Кронштадта все учебные суда и потребовало от Совета "беспрекословного повиновения". Заседавший в те дни съезд крестьянских депутатов пригрозил "отказать кронштадтцам в продуктах потребления". Стоявшая за спиной соглашателей реакция искала решительной и, по возможности, кровавой развязки. "Опрометчивый шаг Кронштадтского Совета, -- пишет один из молодых историков, Югов, -- мог вызвать нежелательные последствия. Нужно было найти подходящий путь для выхода из создавшегося положения. Именно с этой целью в Кронштадт и поехал Троцкий, где выступил в Совете и написал декларацию, которая и была принята Советом и затем -- единогласно -- проведена Троцким на митинге на Якорной площади". Сохранив свою принципиальную позицию, кронштадтцы уступили в практических вопросах.

Мирное улажение конфликта вывело буржуазную прессу окончательно из себя: в крепости анархия, кронштадтцы печатают собственные деньги -- фантастические образцы их воспроизводились в газетах, -- казенное имущество расхищается, женщины обобществлены, идут грабежи и пьяные оргии. Моряки, гордившиеся своим суровым порядком, сжимали мозолистые кулаки при чтении газет, которые в миллионах экземпляров распространяли клевету о них по всей России.

Получив в свое распоряжение кронштадтских офицеров, судебные органы Переверзева освобождали их одного за другим. Было бы крайне поучительно установить, кто из освобожденных принимал в дальнейшем участие в гражданской войне, и сколько матросов, солдат, рабочих и крестьян было ими расстреляно и повешено. К сожалению, мы не имеем возможности произвести здесь эти поучительные подсчеты.

Авторитет власти был спасен. Но и матросы получили скоро удовлетворение за понесенные обиды. Со всех концов страны стали прибывать резолюции приветствия красному Кронштадту: от отдельных наиболее левых советов, от заводов, полков, митингов. Первый пулеметный полк в полном составе демонстрировал на улицах Петрограда свое уважение к кронштадтцам "за их стойкую позицию недоверия Временному правительству".

Кронштадт готовился, однако, взять и более значительный реванш. Травля буржуазной прессы сделала его фактором общегосударственного значения. "Укрепившись в Кронштадте, -- пишет Милюков, -- большевизм широко разбросал по России сеть пропаганды при помощи надлежащим образом обученных агитаторов. Кронштадтские эмиссары посылались и на фронт, где подкапывали дисциплину, и в тыл, в деревни, где вызывали погромы имений. Кронштадтский Совет выдавал эмиссарам особые свидетельства: "Н.Н. послан в свою губернию для присутствия, с правом решающего голоса, в уездных, волостных и сельских комитетах, а также выступать на митингах и созывать митинги, по своему усмотрению, в любом месте", с "правом ношения оружия, свободного и бесплатного проезда по всем железным дорогам и пароходам". При этом "неприкосновенность личности означенного агитатора гарантируется Советом города Кронштадта".

Обличая подрывную работу балтийских моряков, Милюков забывает только объяснить, как и почему, несмотря на наличность премудрых властей, учреждений и газет, одинокие матросы, вооруженные странным мандатом Кронштадтского Совета, без препятствий разъезжали по всей стране, везде находили и стол и дом, допускались на все народные собрания, всюду внимательно выслушивались и налагали отпечаток матросской руки на исторические события. Обслуживающий либеральную политику историк даже не ставит перед собою этого простого вопроса. Между тем кронштадтское чудо было мыслимо лишь потому, что матросы гораздо глубже выражали потребности исторического развития, чем очень умные профессора. Малограмотный мандат оказался, если говорить языком Гегеля, действителен, потому что он был разумен. Между тем субъективно-умнейшие планы оказались призрачны, ибо разум истории даже не ночевал в них.

* * *

Советы отставали от заводских комитетов. Заводские комитеты отставали от масс. Солдаты отставали от рабочих. Еще в большей мере провинция отставала от столицы. Такова неизбежная динамика

революционного процесса, порождающая тысячи противоречий, чтобы затем, как бы случайно, мимоходом, играя, преодолеть их и тут же породить новые. Отставала от революционной динамики и партия, т. е. та организация, которая меньше всего имеет право отставать, особенно во время революции. В таких рабочих центрах, как Екатеринбург, Пермь, Тула, Нижний Новгород, Сормово, Коломна, Юзовка, большевики отделились от меньшевиков только в конце мая. В Одессе, Николаеве, Елизаветграде, Полтаве и в других пунктах Украины большевики еще в середине июня не имели самостоятельных организаций. В Баку, Златоусте, Бежецке, Костроме большевики окончательно отделились от меньшевиков только к концу июня. Эти факты не могут не казаться поразительными, если принять во внимание, что уже через четыре месяца большевикам предстояло взять власть. Как сильно отстала партия за время войны от молекулярного процесса в массах и как далеко отстояло мартовское руководство Каменева--Сталина от великих исторических задач! Самую революционную партию, какую вообще знала до сих пор человеческая история, события революции все же застигли врасплох. Она перестраивалась в огне и выравнивала свои ряды под натиском событий. Массы оказались на повороте "раз в сто" левее крайней левой партии.

Рост влияния большевиков, происходивший с мощью естественно-исторического процесса, при ближайшем рассмотрении обнаруживает свои противоречия и зигзаги, приливы и отливы. Массы неоднородны и к тому же научаются управлять огнем революции не иначе как обжигая об него руки и отшатываясь назад. Большевики могли только ускорить процесс выучки масс. Они терпеливо разъясняли. Впрочем, история на этот раз не злоупотребляла их терпением.

В то время как большевики неудержимо овладевали заводами, фабриками и полками, выборы в демократические думы давали огромный и как бы растущий перевес соглашателям. Таково было одно из наиболее острых и загадочных противоречий революции. Правда, дума Выборгского района, чисто пролетарского, гордилась своим большевистским большинством. Но это было исключение. На городских выборах в Москве, в июне, эсеры собрали больше 60% голосов. Эта цифра поразила их самих: они не могли не чувствовать, что влияние их быстро идет к уклону. Для понимания взаимоотношения между реальным развитием революции и его отражениями в зеркалах демократии московские выборы представляют чрезвычайный интерес. Передовые слои рабочих и солдат уже спешно отряхали от себя соглашательские иллюзии. Между тем широчайшие слои мелкого городского люда только начинали шевелиться. Для этих распыленных масс демократические выборы открывали едва ли не первую и, во всяком случае, одну из редких возможностей политически проявить себя. В то время как рабочий, вчерашний меньшевик или эсер, подавал голос за партию большевиков, увлекая за собою солдата, извозчика, разносчика, дворника, торговка, лавочника, его приказчика, учителя посредством такого героического акта, как подача голоса за эсеров, впервые выходили из политического небытия. Мелкобуржуазные слои с запозданием голосовали за

Керенского, потому что он воплощал в их глазах Февральскую революцию, которая только сегодня докатилась до них. Со своими 60% эсеровского большинства московская дума блистала последним светом угасающего светила. То же было и со всеми другими органами демократического самоуправления. Едва возникнув, они уже оказывались поражены бессилием запоздалости. Это значило, что ход революции зависит от рабочих и солдат, а не от человеческой пыли, которую вздымали и кружили вихри революции.

Такова глубокая и вместе простая диалектика революционного пробуждения угнетенных классов. Наиболее опасная из aberrаций революции состоит в том, что механический счетчик демократии суммирует воедино вчерашний, сегодняшний и завтрашний день и этим толкает формальных демократов искать голову революции там, где на самом деле находится ее тяжеловесный хвост. Ленин учил свою партию отличать голову от хвоста.